

Пути России

Новый
старый
порядок —
вечное
возвращение?



Сборник статей

**Пути России. Новый старый
порядок – вечное возвращение?
Сборник статей. Том XXI**

«НЛО»

2016

УДК 316:32(470+571)
ББК 60.561.3(2Рос)

Сборник статей

Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XXI / Сборник статей — «НЛО», 2016

ISBN 978-5-4448-0441-4

В сборнике представлены статьи участников XXI международного симпозиума «Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение?», проходившего 21–22 марта 2014 года. Авторы – историки, философы, социологи, политологи, экономисты, культурологи – рассматривают социальную и политическую жизнь страны с точки зрения развития России и ее будущего. Сегодняшнее многообразное обращение к прошлому как идеологический, культурный и политический феномен нуждается в теоретическом осмыслении. В статьях анализируется исчезновение перспективы предвидимого, желаемого, так или иначе планируемого будущего, с которым соизмеряются идеологические конструкции, долгосрочные планы, социальные теории и практика.

УДК 316:32(470+571)
ББК 60.561.3(2Рос)

ISBN 978-5-4448-0441-4

© Сборник статей, 2016
© НЛО, 2016

Содержание

От редакции	6
Раздел 1	8
Андрей Игнатъев[1]	8
Леонид Бляхер[47]	23
Любовь Бронзино [72]	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XXI

© Авторы, 2016,

© ООО «Новое литературное обозрение», 2016

От редакции

Минувший год не только в России, но и в большой степени во всем мире продемонстрировал важную тенденцию, значение которой пока остается спорным, но, как представляется, скорее будет нарастать, чем ослабляться. В самом общем виде ее можно охарактеризовать как размывание, вплоть до полного исчезновения, перспективы будущего. Несомненно, социальная и политическая жизнь не останавливается, в ней происходит множество событий и вызревает множество процессов, в том числе и таких, которые могут оказаться совершенно непредвиденными. Но речь идет о другом, а именно – об исчезновении перспективы предвидимого, желаемого, так или иначе планируемого будущего, с которым соизмеряются идеологические конструкции, далекоидущие планы, социальные теории и практика.

В этой ситуации одним из наиболее частых ответов на вызовы становится обращение к тому, что уже неоднократно встречалось в прошлом. В России это принимает форму идеологического консерватизма – но не в смысле консервации того, что есть сейчас, а в смысле более радикального консерватизма, пытающегося обнаружить в разных периодах российской истории более или менее надежные, проверенные способы осмысления ситуации и овладения ею. Есть и совершенно недвусмысленные попытки представить консерватизм как господствующую, одобренную государственной властью идеологию и способ самопрезентации России в международном сообществе. Однако дело не только в идеологии. Речь идет об укреплении и реставрации практик и институтов социального управления, политического и полицейского господства – в той мере, в какой современное понимается именно в качестве консервируемого и восстанавливаемого, а не того, что находится в процессе модернизации как приближения к некоторому образцу модерна. Складывается и активно внедряется через средства массовой информации язык социальных описаний, напоминающий о языке прошлых эпох.

Это многообразное обращение к прошлому, как идеологический, культурный и политический феномен, нуждается в теоретическом осмыслении. Мы исходим из того, что единого однородного и одинакового прошлого нет, оно является конструктом тех социальных процессов, которые происходят в настоящем. Образы прошлого, прошлое как модель оценивания настоящего и проектирования ближайшего будущего производятся разными социальными группами, накладываются один на другой, становятся предметом конкуренции, иногда – ожесточенных конфликтов. Это относится, в частности, и к современному национализму, ставшему – в виде достаточно сильно различающихся между собой течений и группировок – значительным фактором внутренней жизни страны, к попыткам возрождения архаических моральных систем и, разумеется, к широко и повсеместно практикуемой критике общественных устройств и культуры модерна. Необходимо отметить, что модернизация науки, техники, производства, здравоохранения, коммуникаций и транспорта не ставится под сомнение. Мы имеем дело с феноменом, хорошо известным по меньшей мере с позапрошлого века и давшим любопытные результаты также и в XX в. Если воспользоваться одной из полемических формул Юргена Хабермаса, речь идет о том, чтобы сказать «да» современному обществу, говоря одновременно «нет» современной культуре, в том числе, добавим, и культуре политической.

Несомненно, ничего невозможного или небывалого нет в ситуациях, когда именно культурно-политический консерватизм оказывается благотворным для модернизации других областей социальной жизни. Однако здесь нет и прямой связи, тем более в современном глобальном обществе. Точно так же нельзя не видеть, что отчасти к жизни возвращаются классические – но появляются также и совсем новые – формы протеста и отрицания господствующего порядка, революционного и реформистского поведения. Правильно оценить их

можно, во-первых, не забывая об образцах прошлого, которые в них реактуализируются, а во-вторых, принимая во внимание тот новый контекст – и местный, и глобальный, – в котором они существуют.

Во всяком случае, социальные и гуманитарные науки в нашей стране получают много материала для осмысления происходящего и, возможно, переосмысления того прямодушного модернизационного порыва, которым отличались предшествующие десятилетия. Дискуссии на XXI ежегодной конференции «Пути России» должны были, по замыслу организаторов, способствовать формированию новых подходов к тому, что, возможно, станет одним из продолжительных этапов нашей новейшей истории.

Отдельно хотим поблагодарить Фонд Розы Люксембург, благодаря которому стало возможно участие в симпозиуме многих наших коллег из других регионов России.

Раздел 1

Социальные порядки: спонтанные, навязанные и рассказанные

*Андрей Игнатьев*¹

Понятие социального порядка: практики словоупотребления и объяснительные функции

Наука вообще и социология в частности – это прежде всего литературная традиция, т. е. библиотека высказываний, сформулированных в парадигме «если X, то Y», а также сообщество, члены которого владеют искусством построения таких высказываний². В социологии «эксплананс» – феномен, который предполагается объяснить или предсказать, – репрезентирован в дискурсе как переменные, характеризующие поведение человека (его конкретную форму, мотивы, средства, результат, способ легитимации), тогда как переменные, составляющие «экспланандум», прямо или косвенно восходят к понятию социального порядка и той реальности, которую это понятие моделирует. Коротко говоря, по мнению автора данной статьи (разумеется, далеко не бесспорному), социология – это научная дисциплина, которая объясняет различия в поведении людей или его странности посредством их трактовки как следствий того или иного социального порядка.

Между тем всякий, кто наткнулся на понятие социального порядка в чужих публикациях или употреблял его в своих собственных, наверняка замечал характерную двойственность его дискурсивного статуса – исключительность перформативных функций и одновременно размытость или даже какую-то уклончивость конкретных эмпирических референтов. С одной стороны, это, пожалуй, наиболее фундаментальное понятие социологии, любые другие понятия получают свою дефиницию именно по отношению к социальному порядку; исключительный статус данного понятия можно охарактеризовать, перефразируя первый из тезисов Пражского лингвистического кружка: рассматривать общество как систему – значит исследовать социальный порядок как структуру³. С другой стороны, это понятие никогда не получает сколько-нибудь внятных дефиниций, в любом словаре или учебнике его значение всегда предполагается интуитивно очевидным; проблемой или предметом исследования может оказаться генезис социального порядка (как он возможен), его специфические конфигурации и показатели, сценарии его изменения или предпосылки воспроизводства, прагматические контексты, в которых оно употребляется теми или иными авторами, но отнюдь не собственное значение термина⁴. Другими словами, на практике понятие социального порядка оказывается идиомой, которая артикулирует исходные допущения социологии,

¹ Игнатьев Андрей Андреевич – кандидат философских наук, доцент, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

² Это утверждение ранее уже было сделано в одной из моих статей, однако в данном случае уместнее сослаться не на нее, а на какую-нибудь классическую работу по методологии прикладных исследований или даже теории эксперимента. См., например: *Кэмбелл Д.* Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М.: Прогресс, 1989. В более общем плане о science как о «формате» дискурса см.: Ullmann-Margalit (ed.). *The Prism of Science*. Dordrecht etc.: Reidel, 1986.

³ См.: Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.

⁴ См., например, дефиницию социального порядка в одном из наиболее популярных словарей по социологии: *Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С.* Социологический словарь. М.: Экономика, 2004. С. 443–444.

по большей части неявные – так сказать, «предметы веры», разделяемые представителями этой дисциплины и предшествующие всякой конкретной аналитике как ее априорное условие, это вовсе не суждения о реальности, которые можно обосновать посредством ссылки на какие-либо эмпирические данные.

Принято считать, что эти исходные допущения восходят к сочинению Томаса Гоббса «Левиафан», где впервые сформулирована так называемая «проблема порядка», т. е. вопрос, из попыток ответить на который в конечном итоге выросла социология⁵. Его можно сформулировать так: почему в одних обществах или их сегментах идет перманентная «война всех против всех», тогда как в других сохраняется достаточно высокий уровень солидарности или готовности к согласию? Отвечая на этот вопрос, который позднее в той или иной форме повторили и Дюркгейм, и Вебер, и Шюц, и кто только не из классиков социологии, Гоббс вводит представление о двух альтернативных «модусах» повседневного действия, природном и «цивильном», которые и обуславливают склонность социального актора к насилию, в том числе по отношению к самому себе, или, напротив, к воздержанию от любых его форм⁶. Эта точка зрения, связывающая поведение человека не с какими-то личными мотивами, диспозициями или привычками, а с чисто контекстуальными переменными, в дальнейшем была экстраполирована на гораздо более детализированные проблемные ситуации, благодаря чему ссылка на социальный порядок и превратилась в универсальный объяснительный принцип социологии. Кроме того, получила уточнение или модификацию сама базовая дихотомия природного и «цивильного», что позволило сконструировать показатели, характеризующие разные типы социального порядка, т. е. сделать это понятие операциональным, а также выработать и обосновать трактовку социального порядка как иерархии структур.

Тем не менее, при всех этих уточнениях и модификациях, реальность того, что мы называем «социальный порядок», остается допущением *a priori*, скорее «предметом веры», нежели хорошо удостоверенным социальным фактом. Такие понятия чаще всего являются дериватами либо стереотипов обыденного сознания, либо и вовсе мифологем, инвариантных самым разным культурам; в данном случае, очевидно, это представление о реальности как о воплощении какого-то рационального замысла, отсюда ведическое *rta*, или «мировой порядок», от которого наш «ритуал», древнегреческий *nomos*, который практически такой же априорный залог стабильности и предсказуемости *humanconditions*, только в какой-то частной области (отсюда представление о «законах природы и общества», на котором основывается исторический материализм, или номосы «земли» и «моря» у К. Шмитта), наконец, представление о социальном порядке, которое мы обсуждаем⁷. Точка зрения мамыши, согласно которой ее ангелочек стал наркоманом или занялся угоном автомобилей чисто потому, что связался с дурной компанией, т. е. оказался в сфере действия заведомо дефектного «номоса», как и пресловутые «теории заговора», являются только до конца профанированными версиями такого архетипического взгляда на реальность. Этот взгляд, безусловно, ограничен, однако его справедливость или ошибочность не есть предмет доказательства, его предписывает традиция социологии как ремесла, владение которым и позволяет выдвигать свои или проверять чужие гипотезы. В свою очередь, это означает, что задача описания или реконструкции социального порядка не может быть самодовлеющей, она приобретает смысл и

⁵ Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985.

⁶ У Гоббса эта базовая дихотомия представлена эпитетами «natural» и «civil», на русский их принято переводить как «естественный» и «общественный», но этот вариант перевода (в особенности – второй термин) весьма уязвим для критики, поэтому в данной статье предпочтение отдано лексике менее конвенциональной, но зато по звучанию, смыслу и кругу ассоциаций более адекватной оригиналу.

⁷ На мой теперешний вкус, наиболее адекватным источником в данном случае является классическая работа Ханны Арендт: *Arendt H. The Human Condition*. Chcgo; L.: Univ. Chcgo Press, 1958. Следует указать и другую классическую работу, на которой выросло практически все мое поколение отечественных социологов: *Merton R.K. Social Theory and Social Structure*. N.Y.: The Free Press, 1968.

перспективу верификации полученного результата только в контексте аналитики каких-то вполне конкретных форм поведения, как оно всегда, собственно, и было у классиков социологии.

Прежде всего следует припомнить аналитику самоубийства у Дюркгейма, стратегию которой можно определить как сведение партикулярной личной мотивации действия к универсальным (в известных границах, разумеется) императивам социального порядка, трактуемого как псевдоним или дериват ветхозаветного Закона. В самом деле, есть множество свидетельств тому, что в контекстах «западной», иудеохристианской цивилизации отдельный конкретный суицид – безусловный и очевидный эксцесс, катастрофа, которая возникает в значительной степени случайно, в результате трагического (т. е. необъяснимого и неконтролируемого) стечения обстоятельств, предвидеть ее нельзя⁸. В то же время так называемый «suicide rate» остается константой, заметные и устойчивые перемены в значениях которой сопряжены с хорошо наблюдаемыми переменами в контекстах повседневного действия, а это позволяет гипотезировать «социальные факты», касающиеся обстоятельств, которые побуждают людей к суициду.

Сходным образом реальность социального порядка постулирована у Р.К. Мертон, когда неявная, однако хорошо читаемая апелляция к этому же понятию, трактуемому, однако, по аналогии с понятием структуры в лингвистике⁹, снимает противоречие между изменчивостью предпосылок отдельного конкретного «вклада» в производство знания и единообразием статистических распределений, известных как «закон Лотки». Принято считать, что до Мерто на уровень персональных достижений отдельного конкретного исследователя тоже рассматривался как безусловный и очевидный эксцесс, следствие «искры Божией», т. е. персонального «творческого дара» или даже «инсайта», а вовсе не действия факторов или социальных механизмов, которое можно контролировать и предвидеть¹⁰. Вразрез с этой точкой зрения Мертон, а вслед за ним целая когорта его учеников показали¹¹, что «закон Лотки» вполне может рассматриваться как результат зависимости между уровнем персонального «вклада» в производство знания и конфигурациями социального порядка, складывающимися в профессиональных сообществах научной дисциплины или же междисциплинарной области исследований.

Оба хрестоматийных примера апелляции к понятию социального порядка показывают, что это понятие отнюдь не является именем нарицательным, указывающим на непосредственно наблюдаемые феномены – регулярности («паттерны»), которые характеризуют поведение человека, включенного в природную, социальную, экономическую, политическую, семиотическую, техническую или какую угодно другую систему (с такой интерпре-

⁸ Для многих «восточных» цивилизаций дело обстоит прямо обратным образом: в определенных ситуациях предписывается не только сам суицид, но и его конкретная форма. Той же особенностью, не исключено, обладают самоубийства литераторов или вообще людей искусства: *Паперно И.* Самоубийство как культурный институт. М.: НЛЮ, 1999; *Чхартушвили Г.Ш.* Писатель и самоубийство. М.: Захаров, 2006.

⁹ Судя по всему, для Мертона «экспланандум» социологической аналитики – уже не сами по себе наблюдаемые факты поведения, а свидетельства о них, данное обстоятельство не только сближает его структурный анализ с так называемой «уликовой парадигмой» в криминалистике, медицине или культурантропологии, но и наделяет понятие социального порядка статусом допущения, без которого нельзя, т. е. чисто корпоративного «предмета веры». См.: *Гинзбург К.* Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история. М.: Новое изд-во, 2004.

¹⁰ См.: *Merton R.K.* *Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations.* Chicago: Univ. Chicago Press, 1973. Независимо от Мертона и даже, пожалуй, несколько ранее дихотомия «искра Божия / контекстуальные факторы» появляется в работах по социологии научных организаций: *Пельц Д., Эндриус Ф.* Ученые в организациях. Об оптимальных условиях для исследования в организациях. М.: Прогресс, 1973; *Andrews F.M.* (ed.). *Scientific Productivity. The effectiveness of research groups in six countries.* Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press / Unesco, 1979.

¹¹ Эти идеи, разумеется, давно уже вышли за границы социологии науки и даже вообще академической социологии: *Гладуэлл М.* Гении и аутсайдеры. М.: Альпина ББ, 2009; *Rigney D.* *The Matthew Effect: How Advantage Begets Further Advantage.* N.Y.: Columbia Univ. Press, 2010.

тацией понятия приходится сталкиваться достаточно часто). Скорее наоборот – это понятие востребовано в ситуациях, когда речь идет о сингулярностях поведения, т. е. отклонениях от его типового сценария, которые нельзя объяснить ни особенностями личности или ее текущим состоянием, как это делает психология и психиатрия, ни субъективными намерениями и целенаправленными усилиями индивида, как это делают юристы; суицид или различия в персональной научной продуктивности – как раз феномены подобного рода. В такой перспективе концепт социального порядка оказывается не столько констатацией того, что имеющиеся данные наблюдений за поведением человека демонстрируют какую-то хорошо различимую упорядоченность (например, устойчивое статистическое распределение или типовой сценарий), сколько эвристическим допущением, которое позволяет использовать любые наблюдаемые регулярности поведения как отправной пункт аналитики патологий или эксцессов повседневного действия; для этого, собственно, наука и нужна.

* * *

Один из эксцессов, который не допускает субъективированного объяснения из хабитуса или намерения индивидов, – приватное массовое насилие: сегодня мы хорошо понимаем, что человек – живое существо, по самой своей природе агрессивное, и что эволюцию социальных или, тем более, политических институтов всегда можно представить как развитие всякого рода диспозитивов, позволяющих вытеснить насилие за границы повседневной жизни. Более того, мы достаточно много знаем о факторах или проблемных ситуациях, которые так или иначе влияют на уровень агрессивности, провоцируя акты насилия или, наоборот, позволяя их избежать, и оттого хорошо понимаем, что никакая конституция личности или общепринятая мораль агрессии не исключает, необходимо еще право, в том числе уголовное, полиция, армия, спецслужбы и другие институты, которые, наоборот, ее предполагают. Иными словами, на практике речь идет не столько об исключении насилия из повседневной жизни, сколько о достаточно противоречивой, даже амбивалентной задаче его эффективной регуляции – ограничить или вовсе заблокировать деструктивные проявления, одновременно стимулируя те, которые исполняют какие-нибудь важные социальные функции¹². В такой перспективе рефлексия о насилии как феномене повседневной жизни становится источником не столько инструментального знания, сколько различного сорта парадоксов, для разрешения которых имеет смысл отвлечься от факторов или ситуаций, обуславливающих конкретные частные проявления агрессивности, и рассмотреть конфигурации социального порядка, при котором насилие человека по отношению к человеку становится универсальной рутинной.

Понятно, что речь идет об одном из модусов повседневной жизни, которые выделяет Гоббс, т. е. о конфигурациях социального порядка, предполагающих насилие как условие *sine qua none* его социального конструирования и воспроизводства, будь то приватные действия обывателя, направленные на решение каких-то сугубо личных проблем, или же суверена, обладающего кодифицированным публичным статусом: именно в этом случае насилие перестает быть хабитусом или намерением индивида и становится функцией социального контекста¹³. В такой перспективе, однако, под «природным» состоянием общества, как его трактует Гоббс, следует понимать вовсе не сообщества крупных всеядных приматов, одним из видов которых, как известно, является *homo sapiens*, и не пресловутое «варварство», якобы предшествующее «цивилизации» во времени, но особый социальный порядок, альтернативный «цивильному» и обусловленный его кризисом, т. е. ситуациями, когда насилие

¹² Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: ИГ «Прогресс»/«Универс», 1994.

¹³ См.: Jervis R. System Effects. Complexity in Political and Social Life. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1997.

не удастся вытеснить за границы повседневной социальной рутины. Такой кризис может развиваться по самым разным причинам и на самых разных уровнях, от партикулярного индивида до общества или даже глобальной системы, однако инвариантом его сценариев неизменно становится конфликт между конститутивной этикой, которую диктуют институты, в свою очередь являющиеся предпосылкой меритократии или персональной карьеры, и сугубо контингентной этикой текущей оперативной целесообразности¹⁴, почти всегда предполагающей физическое или психическое насилие.

Если мне выпадет разъяснять молодежи, зачем нужны социальные институты или в чем разница между «природным» и «цивильным» модусами повседневной жизни, я сошлюсь не только на Гоббса, но и на телесериал о сыщике Гурове, который, как, впрочем, и его коллеги в других современных отечественных сериалах «о ментах и бандитах», действует именно в контексте *bellum omnium contra omnes*, где этика текущей оперативной целесообразности всегда побеждает или даже оказывается единственно уместной. Оттого-то победа героя в отдельном конкретном поединке, а он побеждает всегда, никогда не имеет системообразующих последствий и не сказывается сколько-нибудь заметно ни на его персональной карьере и статусе, ни на состоянии общества, подобно какому-нибудь мифологическому чудищу, снова и снова извергающего насилие из своего чрева. Именно в этом состоит «мораль» знаменитой киноэпопеи Ф.Ф. Копполы, именно оттого предводитель франков Хлодвиг некогда принял христианство – это позволило ему основать династию, т. е. институт, обеспечивающий «транспарентную» передачу власти. Иными словами, оппозиция «природного» и «цивильного» модусов повседневной жизни, о чем пишет Гоббс, конституирует не только типологию социальных контекстов, но и реальные стадии институциональной трансформации общества, все равно – революции или реформы, которую предстоит инициировать и организовать политическому лидеру, действующему как суверен, т. е. «физическое лицо», как теперь говорят, подотчетное только воле Божией и голосу собственной совести.

На практике, разумеется, «природный» социальный порядок выглядит куда менее презентабельно, нежели в телесериалах: на уровне общества как целого это неизбежное следствие войн, пандемий, революций, крупномасштабных техногенных или природных катастроф, а также всякой долговременной и достаточно основательной «модернизации сверху», на персональном уровне – кризисов идентичности, связанных с чисто возрастными изменениями в иерархии и репертуаре влечений, физическими и психическими травмами, а также с быстрым и вынужденным изменением позиции в географическом или социальном пространстве. Такого рода перемены разрушают или существенно деформируют «текстуру» повседневного действия и уничтожают предпосылки реалистичной постановки задач, успешного выбора средств их решения или адекватного определения ситуаций, в которых такие задачи возникают. Следствием, в свою очередь, становится хорошо заметный и далеко не всегда одолимый рост транзакционных издержек, в том числе затрат времени, либидо и других ресурсов, в конечном итоге – неисполнимость самых простых желаний, субъективно переживаемая как немощь или пребывание в неволе. Попросту говоря, индивид перестает справляться с повседневными житейскими трудностями, а это обстоятельство способствует развитию аномии со всеми ее хорошо известными побочными эффектами, включая суициды, различного сорта перверсии и рост бытового насилия, вызывает фрустрацию и моральную панику, провоцирующую или обостряющую конфликты с другими действующими субъектами, а также неврозы, психозы и аддикцию к психоактивным средствам, в конечном итоге блокирует или заметно ограничивает перспективу стратегической рефлексии

¹⁴ О дихотомии «конститутивного/контингентного» режимов социального признания см.: Collins H.M., Pinch T.J. The construction of paranormal: nothing unscientific is happening // On the Margins of Science: The Social Construction of Rejected Knowledge. Keele: Univ. Keele Press, 1979. P. 237–270.

сии, а вместе с ней и рационального выбора. В таких условиях классическое инструментальное действие по Ю. Хабермасу с его хорошо артикулированными целями, обоснованными средствами или intersубъективными определениями ситуации становится недостижимым идеалом, тогда как основным, если не исключительным мотивом повседневного действия оказывается необходимость разрядки аффекта, которая как раз и предполагает насилие, все равно – политическое, сексуальное или чисто бытовое, причем даже не обязательно мотивированное: в условиях морального кризиса его объектом может оказаться кто угодно, когда угодно и по какой угодно причине.

Если предлагаемая аналитика насилия хотя бы отчасти верна, сугубого внимания социологов заслуживают те формы так называемого «совладающего поведения», или стратегии транзита, посредством которых субъекты повседневного действия справляются с кризисами социального порядка и их издержками¹⁵. В первую очередь это, конечно, миграция в географическом и социальном пространстве с «периферии» какого-то конкретного общества или глобальной системы в их «центр», которая постепенно становится доминирующим сценарием успешной профессиональной карьеры в самых разных областях, а значит – особым социальным институтом, становление которого – само по себе источник достаточно серьезных конфликтов, отнюдь не всегда позволяющих обойтись без насилия¹⁶. Далее, это всякого рода перемены в стратегиях и диспозитивах повседневной жизни, аналитика которых на персональном, групповом или, тем более, социетальном уровне постепенно становится областью исследований, даже самый поверхностный синопсис которых далеко выходит за рамки моей статьи. В качестве прецедента напомним о проекте Стюарта Холла и его сотрудников, выполненном в начале 1970-х, с которого, собственно, и начались *cultural studies*¹⁷. Это субкультуры, которые давно уже стали своеобразным диспозитивом перехода, обеспечивающим ресоциализацию мигрантов, делинквентов и прочих аутсайдеров, прежде всего молодых, это помогающие практики, включая деятельность разнообразных «служб спасения», благотворительность, консалтинг и коучинг, а также временные добровольческие коллективы («команды»), предназначенные для решения какой-то конкретной и срочной проблемы, непосредственно затрагивающей интересы локальных сообществ. Наконец, это достаточно широкий и стойкий запрос на лидерство, в том числе харизматическое, реальные практики которого также нуждаются в гораздо более подробном рассмотрении, и это, конечно, *the last, but not the least*, религия, которая предлагает единственный в своем роде синтез всех совладающих практик, включая и так называемые «инициации», т. е. практики, обеспечивающие сохранение идентичности в изменчивых и структурно неоднородных контекстах.

Устойчивым коррелятом насилия является еще одна разновидность эксцессов повседневного действия – инновации, т. е. действия, которые предполагают в качестве своего результата изменения в образцах поведения, понятиях и ценностях какого-либо сообщества; для лидера такие изменения – регулярная социальная функция, для прочих – экстраординарная, но исключительно важная проблема, возникновение которой, как правило, обусловлено недостаточностью персонального хабитуса или же традиции в целом. С одной стороны, любые социальные институты или персональные хабитусы функционируют таким образом, что привычные и общепринятые сценарии повседневного действия сохраняются неопределенно долгое время, иногда даже вопреки целенаправленным и хорошо обеспеченным попыткам ввести какие-то новшества. Причиной тому специфика «цивильного» социального порядка – механизмы социализации и социального контроля, исключаяющие сколько-

¹⁵ См., в частности: *Alexander J.C. Trauma. A Social Theory. Cambridge, UK/Malden, MA: Polity Press, 2012.*

¹⁶ *Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: ИД ВШЭ, 2012; Урри Д. Социология за пределами обществ. М.: ИД ВШЭ, 2012; Он же. Мобильности. М.: ИД ВШЭ, 2012.*

¹⁷ *Hall S., Jefferson T. (eds.). Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. L.; N.Y.: Routledge, 1993 (первое издание книги 1975).*

нибудь заметные отклонения от наперед заданного комплекса образцов поведения, понятий и ценностей, в просторечии именуемого парадигмой¹⁸. Более того, именно этот комплекс артикулирует границу между сообществами (профессиями, трудовыми коллективами или поселениями), обеспечивая тем самым дифференциацию «своих» и «чужих», а соответственно – продвижение тех, кто этого заслужил, и стигматизацию или даже отторжение прочих. Иными словами, он вполне может рассматриваться как необходимая исходная предпосылка меритократии, включая своевременное распознавание достижений, компетентное и справедливое распределение статусов, в конечном итоге – транспарентную служебную и профессиональную карьеру; вот отчего люди вменяемые и практичные обычно соглашались на инновации только по крайней нужде¹⁹. Но с другой стороны – никакая парадигма не является самодовлеющей и универсальной, предметная область, внутри которой она валидна, подвержена различным внешним влияниям и так или иначе ограничена, тогда как образцы поведения, понятия и ценности, которые она предполагает, на практике непременно варьируют относительно общей доминанты и отнюдь не гарантируют устойчивого консенсуса. По этой причине функционирование институтов или персональных хабитусов сопряжено с перманентными конфликтами, побочным эффектом которых (при определенных условиях, разумеется) становятся перемены в сценариях повседневного действия – коротко говоря, «цивильный» социальный порядок всегда проблематичен. Тем не менее, каковы бы ни были стимулы к таким переменам, для их осуществления недостаточно чьего-либо субъективного намерения, особого хабитуса или так называемой «политической воли»; чтобы инновация состоялась, в дополнение ко всему этому необходима конфигурация социального порядка, которая бы обеспечивала плюрализм и эффективную конкуренцию парадигм. Если ее нет, даже реальные и очень важные достижения, не говоря уже о проектах, не будут оценены по достоинству или вообще замечены.

В свое время представленная здесь дилемма стабильности/изменчивости структур подробно рассматривалась в биологии, лингвистике и культурантропологии. Результат оказался примерно одним и тем же: для разрешения дилеммы необходима либо изначальная («природная») суперструктура, которая заведомо предусматривает любые возможные перемены (теории номогенеза, всеобщего праязыка и архетипической традиции), либо такой же изначальный и гарантированный плюрализм конкурирующих структур (теория естественного отбора, языковых семей в лингвистике, полицентрические теории антропогенеза). Первую точку зрения М.К. Петров когда-то определил как «преформизм», вторую – как «эпигенез». Проецируя эти альтернативные точки зрения на социологию²⁰, приходится констатировать, что в интересующем нас контексте дуализм «природного/цивильного» модусов повседневного действия неустраим. Это значит, что удавшиеся инновации (или конструктивное насилие) представляют собой результат их взаимодействия, в определенных ситуациях приобретающего форму конфликта. Справедливости ради надо заметить, что такого рода подход к аналитике поведения давно уже стал общим местом в психологии.

Трактовка инноваций как «внедрения», насильственного или по обоюдному соглашению – это уже как выйдет – каких-то чужеродных образцов поведения, понятий и ценностей может быть поддержана не только разными историческими свидетельствами или эмпирическими данными, но и вполне корректными аналогиями. Замечено, например, что обычно

¹⁸ См.: Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. Это понятие также давно вышло за границы академической социологии: Баркер Д. Парадигмы мышления. М.: Альпина ББ, 2007.

¹⁹ Отсюда, например, такие присловья, как «работает – не трогай», «лучшее – враг хорошего» или «don't trouble trouble still the trouble troubles you», весьма популярные у тех, кто работает непосредственно «на земле».

²⁰ Так называемый «креационизм» практикует объединение обеих этих альтернативных точек зрения: в данном случае как стабильность, так и изменчивость структур имеют одну и ту же причину – таков был замысел «трансцендентного субъекта».

соответствующие действия или процессы локализованы на границе сообщества и предполагают выполнение таких функций, как рекрутинг и социализация новичков (молодого поколения и мигрантов), т. е. институты и хабитусы, которые обеспечивают заимствование, функционируют на манер полупроницаемой биологической мембраны. Тем не менее при более внимательном рассмотрении конкретных сценариев и практик заимствования появляется вопрос: почему действия, выполненные в инокультурной парадигме, не рассматриваются (что было бы вполне понятно²¹) как небрежение приличиями, симптоматика психического расстройства, так называемая «идеологическая диверсия», уголовное преступление или даже одержимость какими-либо «потусторонними силами»? Если переносчик заимствований кто-то из «автохтонов», то вытеснение чужого или действительно нового становится почти неизбежным, а если это мигранты, то «в норме» они обычно не посягают на общепринятые местные сценарии повседневного действия. Но даже если наплыв мигрантов оказался значительным и им удалось заблокировать механизмы социального контроля, это, как правило, приводит к экспансии их собственной культуры, частичному или полному вытеснению прежнего населения и образованию этнических гетто²², а вовсе не к появлению каких-либо новшеств.

Другой вопрос, который возникает при рассмотрении конкретных практик заимствования, касается их перспективы: в каком социальном контексте различия между соседствующими культурами становятся предпосылкой функционального симбиоза, т. е. обмена ресурсами или диспозитивами, взаимной экспертизы, в конечном итоге – интерференции, а не конфликта или, тем более, антагонизма? Такие вопросы еще можно игнорировать при условии, что инициатором заимствований являются «первые лица» государства, т. е. в контексте так называемой «модернизации сверху», когда удавшиеся инновации являются результатом централизованного политического насилия, дополненного «стокгольмским синдромом». В тех случаях, однако, когда перемены в сценариях повседневного действия осуществляются, так сказать, «в инициативном порядке», толерантность к чужой культуре или ее превращение в источник ресурсов, обеспечивающих конкурентное преимущество, становится парадоксом²³, исключая разрешение в терминах личной заинтересованности и подбора кадров.

На практике этот парадокс разрешается прежде всего благодаря дифференциации сообщества на хорошо структурированный «центр» социального пространства, в границах которого безличные институциональные хабитусы сохраняют универсальную валидность, и диффузную «периферию», где основными регулятивами поведения являются межличностные «повязки», сугубо личные побуждения или даже конкретные интерактивные ситуации. Например, система жанров научной литературы предполагает иерархию требований к содержанию публикуемых материалов, которая хорошо согласуется с этой общей схемой: рассуждение, заведомо допустимое в приватной устной дискуссии между коллегами²⁴, вполне может оказаться неприемлемым в статье для респектабельного специального издания, кон-

²¹ Например, старообрядцы XVIII в. считали, что в лице императора Петра I на Русь явился Антихрист. Сегодня массовая реакция на неожиданные и непрошенные социальные перемены артикулирована в других терминах, но остается столь же однозначной и резкой. См.: *Гурьянова Н.С.* Крестьянский антимоноархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе. Новосибирск: Наука, 1988.

²² *Neuwirth G.* A Weberian outline of a theory of community: its application to the «Dark Ghetto» // *British Journal of Sociology*. 1969. Vol. 20. № 2. P. 148–163.

²³ У меня, разумеется, нет оснований сомневаться в результатах исследований, свидетельствующих о тесной связи перемен в образцах поведения, понятиях и ценностях какого-либо сообщества с миграциями, конкуренцией или другими экзогенными факторами, однако такого рода факторы только запускают или опосредствуют какие-то эндогенные социальные процессы, которые уже обеспечивают распознавание необходимых заимствований, их рационализацию и легитимацию, а также сопряженную с этим трансформацию институтов и хабитусов. См.: *Shils E.* Center and Periphery: Essays in Macrosociology. Chicago: Univ. Chicago Press, 1975.

²⁴ См.: *Мирский Э.М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М.: Наука, 1980.

ституирующего «центр» дисциплины, и сомнительным, но терпимым в докладе на конференции или в краткой заметке. Такую же иерархию ожиданий предполагает и система академических статусов: более высокие «страты» исследователей или преподавателей обычно демонстрируют заметно более ограниченный диапазон вариаций в образцах поведения, понятиях и ценностях²⁵, что вполне согласуется с их позицией в «центре» актуальной социальной топографии дисциплины²⁶, а также уровнем их продуктивности или, наконец, показателями их доступа к информационным каналам и ресурсам. Конфликт между «архаистами» и «новаторами»²⁷ достаточно быстро вытесняется из «центра» сообщества, где он невозможен в принципе, на его «периферию», где он порождает различные «теневые» практики, двусмысленные, но привычные условности или, наконец, маргинальные социальные идентичности и амплуа.

Любая удавшаяся инновация представляет собой иерархию действий, предпринятых в разных перформативных контекстах и на разных условиях. Один из уровней этой иерархии задает сугубо контингентные практики дискуссий или иного рода поединков между «архаистами» и «новаторами», отнюдь не предполагающие какие-то правила, категорически выходящие за рамки этологии крупных приматов, другой – конститутивные практики социального признания достижений, предполагающие их тестирование посредством безличных, специализированных и заранее известных процедур (защита диссертаций, экспертиза рукописей, представленных к публикации), архетипом которых является экзамен²⁸. Такая декомпозиция феномена позволяет не только рассматривать удавшиеся инновации, будь то заимствование чужого или «внедрение» своего, как рациональный проект, но и вернуться к дихотомии «природного / гражданского» состояний общества у Гоббса, рассматривая их, однако, уже не как стадии развития, диахронически сменяющие друг друга на манер «цивилизации» и «варварства», но как синхроническую иерархию процессов и действий²⁹, т. е. разные структурные уровни социального порядка. С этой точки зрения «война всех против всех» – реальность, которая всегда с нами и только на какое-то время бывает вытеснена за институциональный фасад.

В своем исходном пункте любая инновация предполагает высказывание о будущем, которое заведомо не может быть верифицировано³⁰. Это значит, что ее необходимым условием является так называемая «конверсия», т. е. формирование «предметов веры», которые, в свою очередь, становятся источниками мотивации к насилию или переменам, стратегий, превращающих трансгрессию в рациональное действие («проект»), наконец, оснований

²⁵ Reskin B.F. Scientific productivity and the reward structure of science // Amer. Sociol. Review. 1977. Vol. 42. № 3. P. 491–504. Достаточно старая работа, но в свое время ее цитировали все подряд, и я не думаю, что ее выводы пересмотрены (впоследствии автор статьи сделала карьеру в социологии affirmative actions, что само по себе признак).

²⁶ Даже в тех случаях, когда инициатива заимствований или эндогенных нововведений исходит от представителей «научной элиты», ее очень часто делегируют на «периферию» коллегам с более низким статусом или даже аспирантам и студентам. Обычно такие поступки объясняют сугубо личными мотивами, однако более реалистично рассматривать их как следствие различий в ожиданиях, связанных с разными статусами и позициями в сети межличностных «повязок», тем более что аналогичная практика замечена не только в научном сообществе.

²⁷ См.: Mulkey M.J. The Social Process of Innovation. L.: Macmillan, 1972; тоже давняя публикация, однако в начале 1970-х гг. проблематика социологии инноваций, к сожалению, была заброшена, какого-то существенного прогресса в ее разработке с тех пор не было.

²⁸ См.: Игнатъев А.А., Яблонский А.И. Аналитические структуры научной коммуникации // Системные исследования: Ежегодник. 1975. М.: Наука, 1976. С. 64–81; такую же (примерно) модель процесса, но опирающуюся на детальное case study, предлагают Н.М. Collins и Т.Т. Pinch в статье, на которую я уже ссылался.

²⁹ Такую иерархию, в частности, предполагают «теории заговора», которые вполне могут рассматриваться как двухуровневая нелинейная модель инноваций в политике: в этом случае «гражданский» образ действий репрезентирует правительство (номинально, по крайней мере, защищая цивилизацию), а «природный» – инициаторы заговора с их апелляцией к «естественному праву», превосходству в «живой силе» или другим подобным императивам. С м.: Биберштайн Й.Р. фон. Миф о заговоре. СПб.: Изд-во Н.И. Новикова, 2010.

³⁰ Агамбен Дж. Что такое повелевать? М.: GRUNDRISSE, 2013.

легитимации, позволяющих наделить субъектов этого действия правотой или обеспечить им алиби. В наши дни «предметы веры» совсем не обязательно предполагают религию, контекстом их формирования и циркуляции вполне могут быть сообщества, складывающиеся вокруг какой-нибудь «культовой» персоны, например «звезды» шоу-бизнеса, спорта или политики, вокруг «культового» же литературного текста или видеонарратива (кинофильма или телесериала), а также в сфере потребления вокруг так называемых брендов – товаров или услуг, с которыми сопряжены устойчивые трансгрессивные ожидания³¹. Во всех этих случаях конверсия сопряжена с аутентичными и достаточно сильными аффектами, что исключает ее объяснение чисто из институционального хабитуса. В то же время конкретные «предметы веры» имеют интересубъективный характер, устойчивы к попыткам их разрушения и вполне могут рассматриваться как реальность *sui generis*. Иначе говоря, их возникновение или распространение должно рассматриваться как следствие какого-то безличного социального порядка, а не иллюзий или намерений субъекта.

Проблема, которую очень быстро вынуждает поставить любая сколько-нибудь последовательная стратегия реконструкции этого социального порядка, состоит в том, что вера во что бы то ни было исключает рефлексию: «предметы веры» не являются артефактами рационального действия, они возникают как бы «сами собой», помимо нашей воли или желания, оттого-то их так часто рассматривают как следствие аддикции, результат насильственной «промывки мозгов» или даже симптоматику психического расстройства. Какого-то исчерпывающего и окончательного решения этой проблемы, скорее всего, не существует, однако мы можем приблизиться к объяснению конверсии как целесообразного и понятного изменения в сценариях повседневного действия, апеллируя к непосредственному личному опыту «веры на слово», который есть у каждого взрослого человека, выделяя таким образом ее специфические контексты, «области наблюдения» и даже образцы текстов, которые на нее рассчитаны, наконец, сравнивая практики трансляции «предметов веры» и знания.

Прежде всего производство знания, трактуемого как совокупность публичных высказываний о реальности, давно принято рассматривать как рациональное действие, которое не исключает или даже предписывает рефлексию о «глубинных структурах» дискурса – стратегиях, которым надо следовать, диспозитивах, которые надо использовать, или критериях, которым должны отвечать результаты (теории, гипотезы или модели). Высказывание будет идентифицировано как знание, если оно отвечает праксеологическим стандартам конкретной научной дисциплины, и как феномен иной природы, если и когда эти стандарты нарушены³². В таком контексте, очевидно, заслуживают внимания тексты PR, религиозные догматы, мифы и народные сказки, дезинформация, литературная фантастика и утопия, а также популярные анекдоты, сплетни и слухи: высказывания данного типа не предполагают доказательства или опровержения, их восприятие – классический образец эффекта, который мы в быту определяем как «верить на слово». Более того, существует давняя и авторитетная традиция рассматривать «знание» как альтернативу подобного рода высказываниям, вследствие чего их вполне можно рассматривать как эмпирические референты термина «предметы веры», который ранее был введен явочным порядком.

Если предположить, что у высказываний подобного типа есть универсальная «глубинная структура», которая, собственно, и обуславливает эффект «веры на слово», то прежде

³¹ Кунде Й. Корпоративная религия. СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2002; Надьярных М.Ф., Уракова А.П. (ред.). Культ как феномен литературного процесса: Автор, текст, читатель. М.: ИМЛИ РАН, 2011; Manuel F.E., Manuel F.P. Utopian Thought in the Western World. Harvard, Mass.: BelknapPress, 1982.

³² Такая практика, превращающая истину в чисто юридическую категорию, не противоречит, однако, традиции, которая сложилась в эпистемологии и социологии науки: в сущности, именно идентификация «глубинной структуры» дискурса, порождающего данное конкретное высказывание, составляет общее место любой общепринятой стратегии его обоснования – от «формального доказательства» в смысле А. Тарского до «нормальной науки» в смысле Т. Куна.

всего надо заметить, что идентификация знания представляет собой конститутивную практику: высказывание рассматривается как знание, если оно имеет один и тот же смысл в любой потенциально осуществимой интерактивной ситуации. Отсюда, например, общее требование неограниченной воспроизводимости эксперимента (наблюдения) или его (требования) различные специальные формы, предполагающие, что любая мыслимая интерактивная ситуация идентична актуальной³³, т. е. является следствием безличного нормативного хабитуса. Напротив, высказывания, которые репрезентируют «предметы веры» в дискурсе, как правило, предполагают ситуации, несовместимые с таким хабитусом, – например, их референты вынесены за границы, внутри которых традиции или правовые институты сохраняют валидность³⁴, и размещены в ситуациях, свидетельства о которых отсутствуют, могут быть фальсифицированы или, по крайней мере, недостаточны и сомнительны. Этим можно объяснить характерные отклонения высказываний, репрезентирующих «предметы веры», от всякого рода нормативных речевых конвенций, в частности их оформление как распечаток подслушанного разговора, фрагментов украденной интимной переписки, сведений, имеющих конфиденциальный характер и не подлежащих разглашению, черновика или незаверенной копии официального документа, наконец, широкое использование диалекта, корпоративного сленга и обценной лексики. Индивид³⁵, транслирующий «предметы веры», действует в контингентном режиме: либо учреждает какие-то образцы поведения, понятия и ценности, обязательные для всех, кто становится его партнером по интеракции («культурный герой», миссионер, суверен), либо пренебрегает ими («партизан», трикстер), но никогда не выступает как подзаконное лицо, субъект легитимного социального действия.

«Глубинные структуры» дискурса, которые обеспечивают трансляцию знания, не возникают сами собой, в силу какого-нибудь природного императива (как способность дышать, ходить или говорить, используя *lingua materna*). Подобно мертвым языкам средневековой науки, они предполагают какие-то институциональные практики социализации (обучение в университете, например), а также эффективный надзор и социальный контроль. Трансляция знания предполагает сплоченные, устойчивые и в значительной степени автономные сообщества («профессии», частным случаем которых являются научные дисциплины). Напротив, «предметы веры» или высказывания, которые их транслируют, обычно конституируют «публику», т. е. изменчивые и достаточно рыхлые скопления индивидов³⁶, в границах которых отсутствует так называемый «ценз» – профессионально-сословные, этнические и половозрастные запреты на участие в интеракции. В таких контекстах дифференциация «своих» и «чужих» осуществляется, как говорится, «по факту», в чисто контингентном режиме, а границы сообщества устанавливаются задним числом, вследствие чего личные симпатии или антипатии здесь заведомо важнее правил – примерно как в Интернете. Отсюда особый статус студенчества, монашества, чиновничества, армии и люмпен-пролетариата или вот теперь «креативного класса» как носителей утопического сознания, а также исключительный по

³³ «Единственной реальностью, – констатирует Г. Рейхенбах, – является настоящее»; см.: *Рейхенбах Г.* Направление времени. М.: ИЛ, 1962. С. 12.

³⁴ Отсюда, не исключая, пресловутое «Царство Мое не от мира сего». На практике трансцендирование «предметов веры» чаще всего достигается посредством инверсии, т. е. зеркального отображения, тех структур дискурса, которые обеспечивают формирование и трансляцию знания, отсюда, скорее всего, хорошо известная роль зеркала как границы между «профаническим» и «сакральным» пространством или повседневной социальной реальностью и пространствами «иного мира». Примеры можно приводить *ad infinitum*, что вполне понятно: инверсия «глубинной структуры» дискурса – это единственная комплементарная ей стратегия, которая сохраняет универсальный характер в смысле «выражения всего того, что может быть выражено вообще в каком бы то ни было языке». См.: *Тарский А.* Истина и доказательство // Вопросы филологии. 1972. № 6. С. 139.

³⁵ См., например: *Хоффер Э.* Истинноверующий. Личность, власть и массовые общественные движения. М.: Альпина ББ, 2004.

³⁶ См. аналитику массы как социального феномена: *Schramm W. L.* The Process and Effects of Mass Communication. Chgo: Univ. Illinois Press, 1971.

значимости и объему вклад «медиаобщества» в становление массовых практик дезинформации. Трансляция «предметов веры» предполагает неразвитость или даже отсутствие авторства как социального амплуа (сказка, утопия и дезинформация непременно анонимны, как, впрочем, и анекдоты, слухи или сплетни). Но если верно, что там, где нет адреса-имени, невозможны институциональные хабитусы³⁷, то перед нами стохастический ряд независимых актов конверсии, приобретающий видимость традиции только в ретроспективе; этим объясняются спонтанность и аффективная напряженность, отличающие трансляцию «предметов веры» от эмоционально нейтральной трансляции знания.

Подводя итоги попытке реконструировать социальный порядок, объясняющий возникновение и распространение «предметов веры», можно предположить, что конверсия является следствием интерференции двух разных конститутивных структур дискурса, каждой из которых может быть сопоставлено какое-то знание. Об этом, в частности, свидетельствуют оценка инокультурной технологии как сверхъестественной, устойчивая контаминация экзотики и утопических представлений, а также включение явных мифологем в средневековые исторические хроники или географические и этнографические отчеты о «неведомых землях». Во всяком случае, «веру на слово» как особый контингентный режим интеракции выделяют главным образом в контекстах, предполагающих какой-либо институциональный хабитус (судебный процесс, например, или экспертиза), тогда как при исследовании менее обязывающих практик дискурса разграничение знания и «предметов веры», как правило, оказывается чрезмерным или даже неуместным.

* * *

Понятно, что отождествление концептов, сложившихся в разных интеллектуальных контекстах и обладающих разной прагматикой, – рискованный шаг, однако есть убедительный и авторитетный прецедент такого рода отождествлений, аналитика отношений между «фирмой» и «рынком» у Стэнли Коуза, очевидным образом повторяющая Гоббса, только в проекции на экономику³⁸. Кроме того, на допустимость такого отождествления косвенно указывают некоторые популярные идиомы, характеризующие субъектов разного типа и уровня, например – оппозиция «hip/square», которая долгое время сохраняет актуальность как раз в подобных прагматических контекстах³⁹. Ряд примеров можно продолжить, например, дихотомию «природного/цивильного» у Гоббса полезно сопоставить с оппозицией «хаоса» и «космоса» у Гесиода, номосами земли и моря у К. Шмитта, «города» и «дикого поля» в героическом эпосе или, наконец, детерминированными и стохастическими моделями в прикладной математике. Мысль о том, что гоббсова дихотомия указывает на иерархию ценностей, понятий и образцов поведения, т. е. на структурные уровни общества как нелинейной системы, а не на альтернативы или стадии его исторического развития, тоже принадлежит не мне⁴⁰, я только позволил себе рассмотреть и несколько уточнить ее перспективы.

³⁷ Петров М.К. Язык и категориальные структуры // Наукоеведение и история культуры. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1973. С. 65.

³⁸ Коуз Р. Фирма, рынок и право. Нью-Йорк: Телекс, 1991.

³⁹ Zurcher L.A. The Poor and the Hip: Some Manifestations of Cultural Lead // Social Science Quarterly. 1972. Vol. 53. № 2. P. 357–376. Дихотомия «hip/square» или ее дериваты – заимствование из сленга американских «черных гетто», где первоначально это была классификация женщин как сексуальных партнеров, потом ее стали широко использовать джазовые музыканты, у которых слово «hip» обозначало человека, посвященного в искусство «живой» импровизации, а «square», соответственно, – законопослушного профана, способного только «играть по нотам», позднее эту дихотомию позаимствовали писатели-битники, у которых она сделалась универсальным классификатором партнеров по интеракции, в этом же значении ее в дальнейшем переняли хиппи.

⁴⁰ См.: Филиппов А. Суверен Гоббса // Михаил Гефтер – история и политика: Интернет-журнал Гефтер. 2012. 31.05 /

Мое исследование, посвященное концепту социального порядка, прецедентам его употребления в дискурсе социологии и объяснительным функциям, надеюсь, показывает, что это понятие указывает на эвристический принцип или даже чисто технический прием, который позволяет сохранять веру в рациональность всего того, что изучает социология. Иными словами, за всяким актом употребления этого понятия в дискурсе «по умолчанию» предполагается этакое «единое» неоплатоников – структура, которая всегда остается за границей личного опыта (ее, как чашу Грааля, Бога или общество, никто никогда не видел), однако попытки ее реконструкции могут сделать предсказуемыми, по-человечески внятными и, так сказать, «операбельными» практики насилия, инновации, всякого рода массовые «предметы веры» и многое другое. Такая структура, очевидно, является секуляризованной версией представлений о ветхозаветном Законе, а если размещать социальный порядок не только в пространстве, как у Бурдье, но и во времени, то его можно рассматривать как манифестацию или дериват Провидения Господня. Тот факт, что концепции подобного рода, как циклические, так и линейные, принято игнорировать или даже отвергать без рассмотрения по существу, красноречиво свидетельствует: перед нами идиоматическое выражение или даже мифологема, а вовсе не понятие в строгом значении термина.

Это обстоятельство, в свою очередь, объясняет, почему аналитика Гоббса по-прежнему сохраняет актуальность не только в качестве источника современных научных представлений о социальном порядке, но и как основание их эффективной методологической критики. Имя собственное, которое Гоббс поставил в заглавие своего труда, а М. Ямпольский сделал центральной метафорой одной из своих книг о дискурсе политического сообщества⁴¹, является недвусмысленной аллюзией прежде всего на историю Иова, человека, волею обстоятельств на неопределенное время свергнутого в «природное» состояние, а кроме того – на историю пророка Ионы или даже на неканоническую литературную и фольклорную агиографию, образцом которой, в частности, может служить «Моби Дик» Мелвилла. В таком контексте Левиафан – аллюзия, отсылающая к чисто религиозной проблематике метанойи, искупления грехов и спасения. Иными словами, философия и социология Гоббса отнюдь не является всецело рациональной теорией, которую можно дедуцировать из каких-то исходных аксиом, верифицировать обычным порядком или даже редуцировать к императивам практической компетенции. В подтексте его труда – парафраз универсального (для «западной» культуры, во всяком случае) эсхатологического мифа, экзегеза которого, в том числе разграничение «природного» и «цивильного» модусов повседневной жизни, а также аналитика суверенитета, требует выхода далеко за рамки секулярного политического дискурса.

Быть может, именно поэтому Гоббс даже не претендует на редукцию социального порядка к какой-то унитарной структуре (обнаружить или гипостазировать «единственно правильную» организацию общества, как это, например, пытается сделать Генон), а рассматривает его как необходимую исходную предпосылку теодицеи, т. е. представлений о неведомой нам рациональности, скрытой за конфликтом «природного» и «цивильного» модусов повседневного действия. Тот же характерный объяснительный дуализм нетрудно обнаружить в основании самых разных моделей социальной динамики, получивших хождение в XX в.: психоанализ Фрейда с его фиксацией на конфликте природных влечений и культуры, социология Дарендорфа и Козера, популяционная генетика С.С. Четверикова, теория игр фон Неймана или бисоциаций Кестлера, наконец, трактовка исторического процесса как перманентного конфликта между носителями «духовности» и агентами хтонической стихии (нордической и зюйдической расами, капиталистической и социалистической идеологиями,

gefter.ru/archive/4766.

⁴¹ Ямпольский М. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец старого режима. М.: НЛО, 2004.

либералами и традиционалистами, «оборотнями в погонах» и честными полицейскими) в конечном итоге восходят к трактовке социального порядка у Гоббса, а через нее – к драконоборческому мифу как парадигме всякого учредительного действия⁴². В таком контексте аналитика социального порядка утрачивает прагматику чисто научного предприятия, связанного с построением общей теории или решением какой-то частной проблемы, и становится ритуальной драмой, т. е. тренингом, направленным на формирование или выявление специфических личностных диспозиций. Следуя Ч. Райт Миллсу⁴³, социолога можно определить как человека, для которого понятие социального порядка является общепринятым идиоматическим выражением и потому не требует дефиниции, его значение интуитивно очевидно.

В более частном плане это исследование позволяет обратить внимание на бинарные или даже тернарные конфигурации социального порядка, которые можно обнаружить за превращением насилия в повседневную социальную рутину, опытом удавшихся инноваций или формированием устойчивых массовых «предметов веры». Так, например, у Томаса Куна и его комментаторов непрерывность инноваций, обеспечивающих накопление и обновление знаний, является следствием конфликта между структурами приватной социальной интеракции, т. е. «живого» устного диалога, возникающего или прекращаемого по инициативе его участников («научным сообществом»), и безличными нормативными сценариями публичного дискурса («парадигмами»). Есть основания полагать, что именно этот конфликт, организованный как чередование «нормальной науки» с ее конститутивными практиками признания и «научных революций», когда признание осуществляется в континджентном режиме, приводит к накоплению «аномалий», выработке альтернативных парадигм и затем их последующему закреплению как институционального хабитуса дисциплины. Сходным образом у Трельча и затем Макса Вебера пролиферация особого интересубъективного опыта, предметом которого является «священное», также непосредственно связана с поддержанием социального порядка, организованного как перманентный конфликт между двумя альтернативными сценариями культовых практик. С одной стороны, это практики церкви, которые предполагают типичную конститутивную ориентацию «верных» на институциональные хабитусы – обязательные для всех иерархию, ритуал и догмат, а с другой – континджентные практики секты, в первую очередь предполагающие аффект, связанный с персональной харизмой лидера. «Амбивалентность ученого», о которой пишет Мертон, по-видимому, является проекцией этого конфликта. В том же ряду следует упомянуть работу Л.С. Клейна⁴⁴, в которой специфические нравы и практики «зон» рассматриваются как результат перманентного конфликта между хабитусами «преступного сообщества», прежде всего его этикой чисто личных отношений или «войны всех против всех», и пенитенциарной системой, репрезентирующей, по крайней мере номинально, «цивильный» образ жизни.

В такой перспективе стоит обратить внимание на очевидный изоморфизм между континджентными практиками дискурса, обеспечивающими конверсию, и компенсаторными реакциями психики. Во всяком случае, эффекты, сопутствующие трансляции «предметов веры», в том числе образование «публики», т. е. гетероморфной социальной массы, локализация источника высказываний за пределами сообщества «верных», замещение институциональных «глубинных структур» дискурса антропологическими инвариантами культуры («архетипами коллективного бессознательного», как сказал бы К.Г. Юнг), а также регрессия к примитивным формам семиозиса (от обмена публикациями к частной переписке и далее к «живому» устному диалогу или даже невербальным контактам), которая в конечном итоге

⁴² Или, на периферии глобальных процессов – к мифологеме «барышня и хулиган», которая определила фабулу целого ряда «культовых» нарративов о борьбе цивилизации с варварством.

⁴³ Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: ИД «Стратегия», 1998.

⁴⁴ Клейн Л.С. Перевернутый мир. СПб.: Фарн, 1993. В такой перспективе концепт «полицейского государства» оказывается только фрагментом гораздо более сложной конструкции, включающей аналитику «теневых» социальных практик.

устраняет дистанцию между значением высказывания и непосредственным опытом, характерную для институциональных практик дискурса, наконец, инверсия праксеологических стандартов, обеспечивающих трансляцию знания, вполне могут быть интерпретированы как осуществление того же, что и одноименные компенсаторные реакции, набора функций. С этой точки зрения «предметы веры» на самом деле являются антиподом знания, его, так сказать, зазеркальным дублером, а следовательно – артикулируют в дискурсе тот же социальный порядок, но на иной манер.

Наконец⁴⁵, несколько слов о конфигурации социального порядка, аналитика которого ставит под вопрос давнюю местную привычку рассматривать общество, исторически сложившееся в России, как особый «космос», т. е. воплощение унитарного социального порядка, где действуют свои специфические «законы», в свою очередь доступные постижению и, если будет надо, переустройству. Между тем классическая русская литература (свидетель, в достаточной степени компетентный) недвусмысленно указывает на то, что никаких устойчивых и единообразных «правил игры», того, что принято называть «порядок» в быту, в нашей стране нет по крайней мере с момента призвания варягов, вследствие чего и эффективное целенаправленное действие или продуктивная рефлексия остаются здесь заведомо невозможными (о русской лени и «темноте» не высказался, пожалуй, только ленивый немой). Тот же Карамзин определил Россию как место, где плохо с дорогами и хорошо с дураками, а где еще можно наблюдать подобное состояние общества, как не на самой границе цивилизации с природой – в буквальном смысле «там, где кончается асфальт»? Гоголь вообще считал Россию «заколдованным местом», т. е. хронотопом, в границах которого все, всегда и повсюду терпят неудачу, ничего ни у кого никогда не выходит просто потому, что не может выйти, если только случайно или по воле богов – классическая парадигма «хаоса», как она представлена, скажем, в античных мифах о Тантале или Сизифе. В том же ряду, очевидно, стоит упомянуть Тютчева с его сакраментальным суждением о России, безупречным по своей внятности указанием на то, что перед нами действительно устойчивая и необычайно протяженная зона непосредственной конфронтации с «хаосом», т. е. с «природным», не обезображенным цивилизацией, контекстом повседневного действия.

Советская литература (свидетель, разумеется, ненадежный, однако других у нас в данном случае нет) ничуть не менее единодушно диагностирует Россию как место нескончаемого системного кризиса. На этом, собственно, основывалась практически вся аргументация в пользу освоения зарубежного опыта, расширения и укрепления руководящей роли Партии, безоговорочной преданности суверену или, как у Вен. Ерофеева и его последователей, – тотального воздержания от действий, несовместимых с состоянием опьянения. Правы, наверное, аналитики, определяющие Россию как «окраину» глобального социального порядка – или его «фронтир», если выбор термина что-то меняет⁴⁶, но это уже отдельная, большая, очень сложная и лишь отчасти проработанная тема («граница» как особый социальный порядок). В такой перспективе, однако, говорить о «законах» общества, т. е. о транспарентной и самодостаточной рациональности социального порядка, не приходится, для этого попросту нет оснований, а значит – классическая парадигма социологии с ее акцентом на унитарных институтах и хабитусах, которая по сей день определяет тематику дискуссий о «путях России», становится чисто идеологическим артефактом.

⁴⁵ Далее приводится фрагмент моей давней статьи: *Игнатъев А.А.* Хаос: невидимая граница рациональности // Синий Диван. М.: Три квадрата, 2003. Вып. 2. С. 208–220.

⁴⁶ См.: *Нильсен Ф.С.* Глаз бури. СПб.: Алетейя, 2004; в отличие от множества других публикаций по теме указанная работа представляет собой комментарий к личным «полевым» наблюдениям культурантрополога, «на общих основаниях» и сравнительно долго прожившего в одном из крупных российских городов.

Леонид Бляхер⁴⁷

Рассказанный порядок на советском Дальнем Востоке: конструирование «пустого» пространства

Навязанный и спонтанный порядок в рамках традиционного дискурса воспринимается как антитеза. Есть некий насильственный, несвойственный человеческому общежитию способ социального бытия. Он задается и поддерживается извне, безотносительно к моей сущности и моим желанием. Этот порядок может оправдываться философски, политологически, религиозно⁴⁸. Но сама необходимость и интеллектуальная изысканность его оправдания уже говорит о его неестественности.

При этом есть нормальное и естественное социальное взаимодействие, порождающее порядок спонтанный. Он не нуждается в рефлексии и самооправдании. По его поводу не теоретизируют, во всяком случае на уровне повседневных практик, в нем просто живут, хотя попытки теоретизирования по поводу спонтанного порядка предпринимаются постоянно (в том числе в «Левиафане»). Только сам этот порядок столь же постоянно ускользает от взгляда теоретика. Как правило, он фиксируется как имевший место в прошлом (давнем или не давнем), иными словами, социолог чаще всего фиксирует уже исчезнувший спонтанный порядок. Причина такого положения дел коренится в самой природе этих порядков.

Как отмечал М.М. Бахтин, «мы входим в оговоренный мир»⁴⁹, кем-то сказанный до нас. Он навязан нам, причем именно дискурсивно, иными словами, навязанный порядок, в силу необходимости его осмыслить и оправдать, всегда оформлен порядком рассказанным, назван. Продолжая бахтинскую линию, можно отметить, что навязанный порядок оформляется «авторитарным словом»⁵⁰, обладающим атрибутами дистанцированности, целостности и властности. Под первым понимается выведение «авторитарного слова» из зоны, где оно может быть оспорено. Авторитарность укоренена в прошлом или трансцендентальна, т. е. находится за пределами социума, целостность предполагает, что навязанный порядок оформлен с помощью системы взаимосогласованных высказываний, ни одно из которых не может быть поставлено под сомнение. Само же авторитарное слово жестко связано с властным институтом, живет и умирает вместе с ним⁵¹. Возникающий же каждый момент спонтанный порядок именно в силу этого обстоятельства не оформляется дискурсивно, не проговаривается.

Вместе с тем совсем не редки случаи, когда именно наличие спонтанного порядка является условием выживания порядка навязанного. Они не столько противоречат, сколько дополняют друг друга. При этом рассказанный порядок оказывается не только способом легитимизации порядка навязанного, сколько смысловым пространством, позволяющим этим порядкам сосуществовать. Отсутствие «рассказа», невидимость дают спонтанному порядку возможность «жить», не вступая в конфликт с навязанным, но дополняя его, существуя в «прорехах» между определениями.

⁴⁷ Бляхер Леонид Ефимович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета.

⁴⁸ Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2; Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

⁴⁹ Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 101–104.

⁵⁰ Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 311–312.

⁵¹ Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния. М.: РОССПЭН, 2005. С. 97–99.

Подобный казус, когда навязанный порядок подкрепляется порядком рассказанным, но способен продолжить существование только при наличии в его порах порядка спонтанного, мы и попытаемся представить в статье.

Пожалуй, трудно найти более показательный случай, когда на гигантской территории навязанный порядок превратился бы в рассказанный, подкреплялся бы им, чем казус советского Дальнего Востока. Именно здесь советская машина переконструирования пространства продемонстрировала свою силу и основательность.

Причины запуска этой машины достаточно очевидны. Процветающая Приамурская окраина⁵², основанная на индивидуальном предпринимательстве, открытости и фермерском сельском хозяйстве, с трудом вписывалась в советские рамки. Не случайно жаловался первый руководитель Дальбюро и позже Дальневосточного крайкома ВКП(б) Н.А. Кубяк на «кулацкую» природу местных жителей⁵³. сетовал, что настоящей бедноты здесь нет, потому и опереться не на кого. В самом деле, социально-экономическая ситуация на Приамурской окраине не предполагала значительного числа бедняков.

Благодаря усилиям немецких, американских и отечественных фирм «железный конь» еще в 90-х гг. XIX в. пришел на смену крестьянской лошадке, не говоря о более примитивных орудиях. Урожайность южных уездов региона (где, собственно, люди и жили) была выше, чем в целом по стране. Обеспеченность землей определялась исключительно физическими возможностями крестьянской семьи. Насколько хватало сил, столько и засевали («захватное землепользование»).

Развивалась переработка сельскохозяйственной продукции, мукомольная и винокурная промышленность. Не отставала от нее рыбная ловля, лесная промышленность, добыча полезных ископаемых. Чуть более миллиона жителей Приамурской окраины давали товарной продукции на сумму от 80 до 130 миллионов рублей в год⁵⁴. При этом надо понимать, что более 80 % населения региона на тот момент составляли крестьяне⁵⁵, производящие далеко не только товарную продукцию. Еще в недобром 1917-м росли города и обороты торговли, открывались газеты и больницы, гимназии и женские курсы. Принимал абитуриентов Восточный институт – первое высшее учебное заведение в регионе, открытое чаяниями местных благотворителей.

Однако самым удивительным обстоятельством этого процветания было почти полное отсутствие его концептуализации. В виде концепций и идеологий оформлялось не развитие Приамурья или Приморья, входившего в Приамурское генерал-губернаторство, но геополитический образ «желтороссии», китайских и корейских территорий, которые должны быть экономически и транспортно «притянуты» к Транссибу⁵⁶.

Приамурское же генерал-губернаторство («внешняя Маньчжурия») существовало в «тени» зарубежной Маньчжурии, которая должна была стать основой для российской геополитики на Востоке⁵⁷. При этом «тень» оказывалась вполне комфортной. Военные, морские и железнодорожные подряды становились формой накопления капитала местной буржуазией,

⁵² Гачечиладзе А. Общий обзор внешней торговли Дальнего Востока // Экономика Дальнего Востока. М., 1926. С. 129.

⁵³ Черная Е.В. Земское самоуправление на Дальнем Востоке в условиях революций и гражданской войны. Владивосток, 2011.

⁵⁴ История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма. М., 1991.

⁵⁵ Данные подворной переписи 1916 г. приводятся по: Старков М.И. Амурское крестьянство накануне Октября. Благовещенск, 1962.

⁵⁶ Болобан А.П. Колонизационные проблемы Китая в Маньчжурии // Вестник Азии. Журнал Общества русских ориенталистов. Харбин. 1910. № 3. С. 85 – 127.

⁵⁷ Межуев Б.В. Моделирование понятия «национальный интерес» (На примере дальневосточной политики России конца XIX – начала XX века) // Политические исследования. 1999. № 1. С. 26–39.

который потом ею же инвестировался в рудники, лесные участки, заводы и склады уже на русской территории⁵⁸.

Грандиозное строительство, инициируемое и финансируемое из Петербурга, а также продолжающееся переселение на Дальний Восток создавало устойчивые рынки сбыта для сельскохозяйственной продукции, для лесопилок, силикатных и пищевых предприятий, для горнодобывающего комплекса. Импульс к развитию был столь силен, что даже трагические события Первой мировой войны и революции на хозяйстве региона сказались не особенно сильно.

Выправить эту «ненормальную» ситуацию и помогло уникальное стечение обстоятельств, дополненное небольшими, но важными социоконструирующими действиями. О них и пойдет речь.

Начнем с объективных обстоятельств. Подворовая перепись 1916 г. фиксирует в регионе почти полтора миллиона жителей. По переписи 1926 г. их число осталось прежним, притом что в состав Дальнего Востока вошло Забайкалье⁵⁹. Да и об активной миграции в регион в этот период пишет Н.Г. Кулинич⁶⁰. Иными словами, если присоединение к региону Забайкалья (Читинского и Сретенского округов) и активная миграция не дали роста числа жителей, то, следовательно, прежнего населения стало существенно меньше. Конечно, многие погибли на войне, которая здесь велась и против советов, и против японцев, и против Колчака. Но не только они дали это сокращение.

Вслед за проклинаемым и демонизируемым в советских источниках атаманом Семеновым из Забайкалья и Приамурья, вслед за правительством братьев Меркуловых из Приморья в Китай переселились сотни тысяч жителей региона. Переносят свою деятельность торговые дома «Чурин и К^о» и «Кунст и Альберс», переезжают в Харбин наследники лесного и угольного короля Леонтия Скидельского. Последние, особо ненавидимые за поддержку атамана Семенова в противовес и Колчаку и Советам, были расстреляны сразу после введения советских войск в Харбин. За реку перебираются крестьяне и купцы, чиновники и инженеры, священники и врачи⁶¹.

В принципе, на тот момент это и не воспринималось как отъезд на чужбину. Северный Китай, территория КВЖД практически была частью России. Русская администрация, русский бизнес, российский рубль – основная валюта⁶². Просто там большевиков нет. Новый поток переселенцев потек через прозрачные границы после первых же указов новой власти. Этими указами практически запрещалась частная лесная и рыболовная деятельность. Обобществлялись заводы и транспорт, лесопилки и мельницы, т. е. запрещалось именно то, что кормило.

Оставшиеся жители подвергались преследованиям, ссылкам, раскулачиванием. Так, в ссылке сгинула большая часть семейства Плюсниных, одной из самых известных купеческих семей в Хабаровске. Но и те, кто переезжал за реку, не были в полной безопасности. В первые годы советской власти не были редкостью рейды красных кавалеристов, вырезавших целые деревни русских крестьян на китайской территории⁶³.

⁵⁸ Штейнфельд Н.П. Русская торговля в Маньчжурии в характеристике местного купечества // Вестник Азии... № 3. С. 128–157.

⁵⁹ Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. Т. 9. С. 2 – 13. Т. 17. С. 2–3; цит. по: Всесоюзная перепись населения 1926 года // Демоскоп-Weekly: Приложения / demoscope.ru/weekly/ssp/rus_26.php?reg=453.

⁶⁰ Кулинич Н.Г. Рабочие советского Дальнего Востока в начале 1920-х гг.: материальное положение и политические настроения // The Soviet and Post-Soviet Review. Vol. 39. Is. 1. P. 110–128.

⁶¹ Крадин Н.П. Харбин русская Атлантида. Хабаровск: Издатель Хворов А.Ю., 2001.

⁶² Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае. М.: Русская панорама, 2004.

⁶³ Галенович Ю.М. «Белые пятна» и «болевы точки» в истории советско-китайских отношений. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 1992. Т. 1.

В результате всех этих мероприятий регион действительно *стал* пустым. Пустоту нужно заполнять. Тут все просто. Потоки переселенцев, правда уже совсем не добровольных, устремились на дальневосточную окраину. Перепись 1939 г. фиксирует уже более 3 млн жителей региона. Ехали по-разному.

Кто-то, как знаменитый Аркадий Гайдар, бежал от личных проблем, от развода с женой, разлуки с сыном. Кто-то ехал, чтобы на новой земле избежать статуса «лишенца». Кто-то – от голода, который уже охватил Украину. Кто-то в вагонзаке. Ехали и романтики – строить новую жизнь. Ведь переезд на Дальний Восток воспринимался примерно так, как поколение 1970-х воспринимало полет в космос. Всю историю советского Дальнего Востока на нем строили что-то небывалое, идеальное. Правда, ни разу план не удался полностью.

По проектам ведущих мировых архитекторов строили первый «город будущего» – Биробиджан⁶⁴. Не вышло. Потом был самый знаменитый дальневосточный проект – «город на заре» Комсомольск-на-Амуре. Результат тот же. Позже были Амурск и БАМ. Не вышло. Но тысячи и тысячи романтиков текли сюда строить небывалые и романтические города... при военных заводах.

Именно армия, именно военные производства стали основой экономики региона⁶⁵. Экономики невероятно странной, убыточной, затратной. Ведь заводы строили не там, где были трудовые или какие-нибудь иные ресурсы. Ни первых, ни вторых там не обнаруживалось. Для этих заводов все (от людей до продовольствия, инструментов, горючего и металла) приходится завозить. Правда, продукция этих заводов вне гигантской и постоянной государственной поддержки убыточна. Все так. Но мы «на армии не экономим».

Продолжал развиваться и горнодобывающий комплекс. Руда, особенно золотая, тоже штука нужная. По подсчетам демографов, почти каждый десятый житель региона – сиделец ГУЛАГа⁶⁶. Они-то и ковали «золотой щит Родины». А если добавить к ним охрану, лагерную администрацию, да и иной люд, кормящийся от лагерей, то и пятая часть населения получится.

Эти переселенцы к процветающей Приамурской окраине Российской империи уже отношения не имели. Но для надежности пустоту региона желательно было закрепить, продолжить в прошлое. Здесь «объективные обстоятельства» уничтожения региона были дополнены. Во-первых, новым концептом – «Дальний Восток». То есть концепт, несомненно, существовал и раньше в качестве геополитического, да и географического обозначения региона, включающего в себя Китай, Японию и многое другое. Показательно, что Дальневосточное наместничество в Российской империи появилось только на рубеже XIX и XX вв., в связи с арендой территорий Северного Китая. До того речь шла именно о Приамурье, Приморье, Забайкалье – вполне различных в хозяйственном, да и культурном отношении регионах. Теперь возникает Дальний Восток СССР, охвативший кроме территории прежнего Приамурья и Якутию, и Колыму. То обстоятельство, что там проживало ничтожное меньшинство населения, во внимание не принималось. Зато средняя температура по региону резко упала. Редкие холода в –40 градусов в обжитой части Дальневосточного края неожиданно становятся нормой. Ведь в Якутии температура и до –70 падает. Существенно снизилась плотность населения. Ведь основная масса людей жила на Юге и по берегу океана. И уж совсем незначительным и бессмысленным в новом – холодном и пустом – регионе оказалось сельское хозяйство. Даже сгонять в колхозы почти никого не пришлось. Крестьяне региона «про-

⁶⁴ Бляхер Л.Е., Пегин Н.А. Биробиджан: между «потемкинской деревней» и nation-building // Полития. 2011. № 1. С. 117–134.

⁶⁵ Кузин А.В. Военное строительство на Дальнем Востоке СССР: 1922–1941 гг.: Дис... д-ра ист. наук. Иркутск, 2004.

⁶⁶ Blum A. A l'origine des purges de 1937 – l'exemple de l'administration de la statistique démographique // Blum A. Statistique, démographique et politique: Deux études sur l'histoire de la statistique et de la statistique démographique en URSS (1920–1939). Paris: INED, 1998. P. 55–92.

голосовали ногами». Привози спецпереселенцев или еще кого-то и вливай сразу в колхоз. Если же колхоз, на свою беду, оказался излишне успешным, как в интернациональном селеении Амурзет, всегда можно его ликвидировать, попутно расстреляв председателя⁶⁷.

Первопроходцы – герои фильмов и книг всегда приходили на «пустое место», в дикую природу. То, что еще в 1970-х гг. активно использовались амбары, мельницы, лесопилки, оставшиеся от далекого 1922-го (года установления советской власти), как-то выпадало. Работы по истории региона всегда строились как описание тщетных попыток заполнить пустоту. Невероятных, но пропавших усилий. Подобным же образом конструировалась и «бедность» крестьян. Притом что средний крестьянский участок в европейской части России составлял 3 десятины, исследователи истории Дальнего Востока СССР относили к беднякам крестьян, засевавших 10 десятин. Ведь бедняков должно быть много больше, чем остальных. То же происходило и с рабочими. Зарплата рабочего в регионе была в 2–3 раза выше, чем в целом по стране. Но... трудные условия, холод и болезни. Видимо, в иных частях страны эти проблемы отсутствовали, поскольку страна располагалась исключительно в субтропиках. Да и школы для рабочих детей, городские бесплатные больницы и т. д. сильно осложняли жизнь⁶⁸.

В результате возник устойчивый образ, получивший легитимацию через научные труды и художественные творения – образ вечно осваиваемого, остро нуждающегося в государстве Дальнего Востока. Навязанный порядок – заводские поселки и военные части – через обретение и кодификацию дискурса превратился в естественный. Ведь так было всегда. Всегда регион был пуст. Всегда ему угрожали китайцы и японцы. Всегда, прежде всего, была армия. Навязанный порядок постепенно превращался в объективные условия существования. Тем более что навязывался он людям, изначально получившим художественно-школьную «прививку» именно такого Дальнего Востока.

В результате новые люди прибывали в самый настоящий пустой и холодный регион. Жили в лагерях и рабочих бараках. И это было нормально. Так было всегда. Здесь всегда голодали и мерзли. Рассказы старожилов о былом богатстве края воспринимали как местный фольклор, да еще и противоречащий научным исследованиям. Этими, новыми людьми управлять было не в пример проще, чем буйным и вольным крестьянством или могущественным предпринимательством, которое полностью удалось выдавить из региона только в середине 1930-х гг.

Но проблема в том, что этих людей нужно кормить. Прибывавшие на ненужные региону, неестественные здесь, нерентабельные, но почему-то очень нужные стране заводы, люди не могли прокормиться сами. Регион оказывался убыточным.

Государственные ресурсные потоки кормили совсем не щедро. Впроголодь жили далеко не только те, кто находился за колючей проволокой. О постоянной хозяйственной неразберихе, из-за которой не успевало продовольствие, станки, люди, вспоминают почти все современники⁶⁹. А «северный завоз» до сих пор остается кошмаром дальневосточных губернаторов. Отсюда и главная стратегия дальневосточных руководителей: выпрашивать ресурсы «из Москвы». Причем, что интересно, совсем не на рыболовство, не на земледелие, не на лесное дело. Это как-то живет самостоятельно, несмотря на «дальневосточные надбавки». А на те самые военные заводы, флагманы социалистического Дальнего Востока. Деньги выделялись. Беда только в том, что все равно не хватало. Проклятые заводы съедали все.

⁶⁷ Козак А. Искатели счастья, или воспоминания очевидца // Лехаим. 2001. № 9. С. 68–83.

⁶⁸ История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма.

⁶⁹ Говорухин Г.Э. Власть и властные отношения в символическом пространстве осваиваемого региона. РАН, Дальневост. отд-ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Комсом. – на Амуре гос. техн. ун-т. Комсомольск-на-Амуре, 2007.

Потому и приходилось сквозь пальцы смотреть местному начальству на «приусадебные участки» и «дачки», сравнимые с крестьянским наделом в европейской части Российской империи. Приходилось важным людям не замечать сбор дикоросов, браконьерство на путине и многое другое. Приходилось почти подпольно вкладываться не в заводы, за которые отчитывались, а в... поля и фермы⁷⁰. В результате постепенно, на фоне устойчивого дискурса о пустом регионе (навязанного и рассказанного) начинает возникать спонтанный порядок. Специфика региона здесь заключалась лишь в том, что в отличие от большинства территорий позднего СССР со спонтанным порядком здесь не только боролись, но и до известной степени поддерживали его.

Ведь местные руководители отвечали и за «решение социальных вопросов». А без частичного отклонения от «генеральной линии» решить эти вопросы не удавалось. Поскольку же «отклонялось» руководство, то и на отклонения остальных жителей смотрели мягче. Частные цеха по заготовке рыбы, изготовлению колбас, пасеки появились здесь задолго до указа об индивидуальной трудовой деятельности. Именно эти люди позволяли смягчать противоестественность военно-индустриального развития региона.

Традиция жизни за пределами бухгалтерии, сформировавшаяся в то время, стала важной составляющей самосознания населения. Именно она позволила выжить в трудных условиях катастрофического распада страны и почти мгновенного разорения большинства заводов-гигантов, построенных с огромными жертвами. При исчезновении порядка навязанного порядок спонтанный не просто выходит на поверхность, но вполне может стать основой для нового институционального оформления общества. Для этого достаточно оформить его в виде целостного дискурса, рассказать.

Сегодня довольно много пишется о кризисе в регионах, практически смерти региональных экономик⁷¹. При этом как-то выпадает тот момент, что речь идет о кризисе навязанного порядка. В то время как гигантский пласт реальности продолжает свое невозмутимое бытие за пределами бухгалтерии, в мире спонтанных организованностей.

⁷⁰ Черный А.К. Остаюсь дальневосточником: Воспоминания государственного и партийного деятеля. Хабаровск: Этнос-ДВ, 1998.

⁷¹ Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт социальной политики, 2010.

Любовь Бронзино ⁷² **Социальный порядок через «Сеть»**

**Супротив друг друга стояли, топча росу, / точно длинные
строчки еще не закрытой книги, / армии, занятые игрой...⁷³**

«Социальный порядок» – базовый концепт социальной науки, способный выступать призмой, сквозь которую может осуществляться теоретическая рефлексия проблематики самого разного уровня абстракции. В веберовской интерпретации социальный порядок предстает как «навязанный» способ урегулирования отношений, возникающих между не всегда рационально мыслящими, но вечно эгоистически ориентированными индивидами. «Естественным образом» существующий социальный порядок часто подвергается опасностям, тогда и вступает в свои права порядок «навязанный», предстающий как реализация легитимного насилия в условиях нарушения порядка.

Теоретическое осмысление современной российской действительности в терминах социального порядка возможно через переинтерпретацию веберовских идей, возвращающую понятиям «навязанности» и «естественности» само собой подразумеваемый смысл: тогда «навязанным» или «естественным» может быть назван один из противоречащих друг другу, но сосуществующих в российской действительности способов организации. Потенциально эвристичным для анализа специфически российского «здесь и сейчас» представляется помещение такого подхода в контекст теорий сетей – хотя получившие популярность в последнее время идеи (например) Б. Латура и Дж. Урри есть западное изобретение, его пересадка на российскую почву может оказаться продуктивной уже в той мере, в какой социологические западные модели последнего десятилетия в принципе способны «работать» на исследование современной России.

Источник идеи «навязанности» порядка в сегодняшней России абсолютно ясен – нынешняя власть в глазах интеллигенции выглядит сомнительной, хотя вопрос о ее легитимности не стоит – она однозначно поддерживается большинством населения, оставаясь при этом парадоксальной (или просто необъяснимой в общепринятых терминах) для научного мышления. Научной интерпретации поддается рациональное действие, даже если под рациональностью подразумевается следование некоему сложившемуся (хотя и не вполне рациональным образом) идеалистическому либо сознательно выдающему себя за таковой образ реальности, обладающему внятным целеполаганием. И который при этом остается пригодной ширмой для реализации вполне прагматических интересов. Рациональность современной российской власти вызывает сомнение не только в силу отсутствия такого рода идеальной модели (пусть и не относимой однозначно к установившимся моделям развития, но сочетающей в себе не противоречащие друг другу их элементы), но и из-за принципиальной (не ясно опять же, насколько этот принцип сознательно создан или возник спонтанно) невозможности прогнозировать ее действия. Любая из существующих ныне «рационализаций» осуществляется *post factum*, что не только заставляет вспомнить о фундаментальной неопределенности современности, но и делает сомнительными применяемые в ходе научной интерпретации модели и методы.

⁷² Бронзино Любовь Юрьевна – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов.

⁷³ Здесь и далее в подзаголовках – стихи Иосифа Бродского: *Бродский И.А.* Полные содержания произведений Бродского. Стихотворения // Litra.RU. // www.litra.ru/fullwork/work/wrid/00015201184773068256/.

Возможные причины сложившейся ситуации следует искать во внутренней противоречивости как имеющихся социальных установок, так и повседневных социальных практик: и то и другое специфическим образом воздействует, с одной стороны, на власть, с другой – на экспертное (научное, в данном случае) сообщество. Дистанцированность социального ученого от власти и общества как предпосылка объективности его исследования обернулась не «равноудаленностью», а «оторванностью», не в последнюю очередь способствуя формированию причудливого сочетания в современной российской реальности даже не многообразных, а принципиально несовместимых установок и способов организации – в широком смысле, социальных порядков.

Интерпретация причин и содержания фундаментальной противоречивости российской действительности может быть разной – от метафизических и теологических рассуждений о специфике «национального русского характера» в духе Н.О. Лосского⁷⁴ и Н.А. Бердяева⁷⁵ до вполне прагматичных и эмпирически обоснованных исследований Ж.Т. Тощенко⁷⁶. В любом случае речь идет о сломе базовых культурных установок в результате «навязанного» (поскольку, как правило, западного) социального порядка. В этом смысле условный «простой россиянин» ничем не отличается от власти предрержащего, поскольку последний так же страдает от утраченного единства «русской души». А так как современному западно ориентированному (в разной степени – как минимум, знакомому с западноевропейской культурной традицией и особенностями рефлексии) интеллектуалу разделять откровенно «славянофильскую» установку почти неприлично, наиболее приемлемой остается теория «парадоксального человека» Ж.Т. Тощенко, рассматривающего россиянина как воплощение разнонаправленных социальных установок: коммуитаристского плана (унаследованных от советской эпохи) и либерального (привнесенных вместе с рыночной экономикой и во многом как раз «навязанных»).

Предлагаемая здесь идея в определенной степени укладывается в рамки традиционной дихотомии «Запад – Восток» или «традиционный – модерный», в которой российская реальность полагается принадлежащей «двум мирам», равно соблазнительным в качестве исследовательской перспективы: миру постмодерна и миру традиционализма. Утверждая, что современный россиянин «застрял» между постмодерном и традиционализмом, следует признать радикальность и сомнительную возможность преодоления разрыва, формируемого двумя типами социального порядка.

Я увидел новые небеса / и такую же землю. Она лежала, / как это делает отродясь / плоская вещь: пылясь

Порядок, осмысливаемый в парадигме постмодерна⁷⁷, выступает как результирующая многообразных, разнонаправленных и существующих на «поверхности» взаимодействий, горизонтально интегрирующих гетерогенные элементы, но не организованных в иерархическую структуру. Делезовская ризома⁷⁸ или латуровская сеть⁷⁹, символизируя отличный от иерархического характер организации, указывают на невозможность в условиях текучей и

⁷⁴ Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. М.: Политиздат, 1991.

⁷⁵ Бердяев Н.А. Судьба России. М.: АСТ, 2005.

⁷⁶ Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М.: Юнити-Дана, 2012.

⁷⁷ Понятие постмодерна здесь используется в максимально широком значении: в качестве этапа развития общества «после модерна», включая его разнообразные характеристики, обязательной из которых является постмодернистская – сетевая социальная организация.

⁷⁸ Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

⁷⁹ Latour B. Changer de société. Refaire de la sociologie. P.: La Découverte, 2006.

турбулентной современности выстраивания порядка на основе жестко заданных нормативов и тотального контроля. В сети не формируются отношения подчинения – есть только равноправное партнерство, ячейки сети, узлы связей взаимодействуют друг с другом, непрерывно порождая новые ассоциации. Здесь «инновация есть правило»⁸⁰, а стабильность (залог контролируемости и подчинения) – исключение. «Не существует общей рамки для всех вещей, по образу кредитной карты, которую принимают почти везде. Это не что иное, как движение, которое мы можем ухватить только опосредованно, тогда, когда производится малейшее изменение в пресуществующей ассоциации, которая обновляется или трансформируется»⁸¹. Альтернативная сети традиционная вертикальная организация (даже если ее удается выстроить без изъянов и «изломов», разрывающих линии прямого отношения власти – подчинения) постепенно, но неизбежно подтачивается «набегающими волнами» формирующихся по горизонтали социальных движений и принадлежащих порядку сети феноменов.

Говорить о том, что «сетевой» социальный порядок достиг «активной фазы» в современной российской действительности, – разумеется, утопия или недомыслие. Вертикаль российской власти сильна, как никогда, а любые альтернативные ей движения выглядят либо как ею же порожденные способы «сброса» накопившегося недовольства, либо как малоперспективный (и даже маргинальный) «лай моськи на слона». Однако «теоретическую убежденность» в универсальности тенденции постепенного формирования «сетевых порядков», наступающих на традиционную вертикаль, можно подтвердить, перечислив несколько феноменов, имплицитно принадлежащих «сетевому порядку» и наличествующих в российской реальности.

Даже не разделяя в полной мере технологический детерминизм, рассматривающий научно-техническое совершенствование как главный фактор социального развития, нельзя не признать доступность технических средств для горизонтальных коммуникаций одной из базовой причин размывания иерархических структур. Интернет, будучи пространством интеракции самых разных людей, не только породил возможность их альтернативного объединения, но и выступает как независимая реальность – резервуар непрерывно возникающих и исчезающих значений. Сетевой принцип организации Интернета делает его недоступным контролю, а создаваемая там система проникает как в порядок, создаваемый в «реальности» существующей властью, так и занимает все большее место в сознании «разгневанного горожанина» – главного носителя и создателя сетевой реальности. В результате он начинает воспринимать традиционный властный порядок как навязанный, хотя и не в буквальном веберовском понимании, а в качестве привнесенного «извне», т. е. помимо воли народа как конституционного источника власти («народ», в свою очередь, начинает отождествляться с интернет-сообществами, что, конечно, не совсем корректно).

Жителя Интернета уже нельзя в полной мере назвать соответствующим традиционному порядку «дисциплинарным индивидом», которого М. Фуко считал результатом «пригонки политической власти к телу»⁸². Специфика иерархически организованной власти заключается в том, что необходимый ей тотальный контроль может осуществляться только дисциплинарно – по принципу Паноптикона, т. е. должен постоянно ощущаться подданными как непрерывно осуществляющийся, не будучи таковым на самом деле⁸³. Принцип «поскольку неусыпный надзор, непрерывная запись, виртуальное наказание охватили собою приведенное тем самым к покорности тело и поскольку они извлекли из него душу,

⁸⁰ Ibid. P. 53.

⁸¹ Ibid. P. 55.

⁸² Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1973–1974 учебном году. СПб.: Наука, 2007. С. 75.

⁸³ Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем, 1999.

постольку и сформировался индивид»⁸⁴ перестает работать в полной мере (хотя очевидно, что формально Интернет и мобильные средства связи дают техническую возможность тотальной слежки, масштабы которой Фуко вряд ли мог представить). Сила дисциплинарной власти в ее невидимости и одновременной вездесущности – как только возникают сомнения в том, что «старший брат смотрит на тебя», такая власть теряет устойчивость, возникающие «щели», куда не проникает всевидящее око, расширяются за счет уверенности в возможности бесконтрольных действий и, соответственно, роста количества желающих «самовольничать».

«Наступление» сетевого социального порядка на традиционные структуры прослеживается и в характере базовых взаимодействий, осуществляемых в экономической сфере. Своеобразие организационной культуры современных корпораций заключается в переносе внутренних взаимодействий на субъект-субъектный уровень – во всяком случае, конкретные организации формируют структуры, в которых отдельные команды исполнителей реализуют поставленную цель, действуя автономным образом. Подобная тенденция (прослеживаемая социологией управления последних лет⁸⁵) выражается, в частности, в различных видах аутсорсинга, при котором корпорация любого масштаба может существовать, имея лишь небольшой центральный офис, распределяющий задания между независимыми группами команд или поставщиков, часто находящихся на разных концах Земли. В этом случае центром контролируется срок и качество полученного результата, а не непосредственный процесс работы. Будучи релевантным основным параметрам общества знания, такой подход основан на современных информационных и управленческих технологиях и связан с характером задач, которые должен выполнять в нынешних условиях высококвалифицированный персонал.

Если верить Ф. Фукуяме⁸⁶, горизонтальные связи образуются на основе доверия, т. е. базируются на наборе этических принципов, «спонтанно» возникающих внутри конкретного общества, которые нельзя задать «извне» – с помощью правовых механизмов. Источник доверия и непосредственный уровень, на котором оно реализуется, формируются в соответствии со сложившимися в конкретном обществе культурными установками (имеет фактически, по Фукуяме, традиционный – домодерный/доправовой – характер). Это, однако, не мешает ему быть наиболее эффективным в условиях постмодерна постольку, поскольку последний ориентирован на непрерывный процесс выработки новых знаний и значений. Тогда смысл деятельности конкретного работника можно определить как инновационность на основе коммуникации: создание нового в коммуникативной среде. Заставить «быть инновационным и коммуникативным» невозможно, вступают в действие иные способы мотивации персонала, где ведущее место отводится самореализации индивида⁸⁷. Формирующийся «креативный класс» (в предложенном Р. Флоридой⁸⁸ или слегка подкорректированном российской действительностью и социальной рефлексией значения⁸⁹) так или иначе занимает ведущее место в социальной структуре, вынося сетевой социальный порядок на макроуровень и способствуя все более широкому распространению корпораций сетевого типа.

⁸⁴ Фуко М. Психиатрическая власть. С. 75.

⁸⁵ См., например: *Игнацкая М.А.* Психология управления и организационное поведение. М.: Изд-во РУДН, 2006.

⁸⁶ Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО «Издательство АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2004.

⁸⁷ *Inglehart R.* Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook based on the 1999–2002 values Surveys, Mexico City: Siglo XXI, 2004 (co-edited with Miguel Basanez, Jaime Deiz-Medrano, Loek Halman and Ruud Luijckx).

⁸⁸ Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005.

⁸⁹ *Окара А.* Креативный класс как последняя надежда // Независимая газета (НГ-Сценарии). 2009. 22.12. № 9 (102). Цит. по: Интелрос – Интеллектуальная Россия. 2009 / www.intelros.ru/intelros/reiting/rejting_09/material_sofiy/5027-andrej-okara-kreativnyj-klass-kak-poslednyaya-nadezhda.html.

Буквальное прочтение идей Фукуямы и Флориды, а тем более их «пересадка» на российскую почву, где и средний класс (основа класса креативного) занимает незначительное место в социальной структуре, и традиционалистское «доверие» пугает, поскольку легитимизирует коррупцию среди и без того кланово ориентированных властных структур, кажется утопией. Но корпорации сетевого типа обладают и еще одним – вполне прагматичным и рационально-просчитываемым преимуществом, – эффективностью и экономической целесообразностью: буквально, «дешевизной».

Легализованный на уровне конкретной корпорации/офиса, социальный порядок такого типа не только задает определенные организационные формы всем участникам экономической системы, но и «создает» индивида-интеллектуала (работника, в данном случае) определенного типа – изначально ориентированного на самостоятельное принятие решений во всех сферах жизнедеятельности и, одновременно, ощущающего противоречие между собственными принципиальными установками и вертикальной организацией социального порядка, стремящегося «сократить» меру его автономности.

Происходит процесс «сжатия» времени и пространства, связанный с возможностью мгновенной передачи информации, который осмысливался как условие формирования взаимодействий принципиально нового типа еще М. Хайдеггером (в этом качестве последнего упоминает Дж. Урри, описывающий формирующиеся системы мобильностей⁹⁰). «Особые Другие не просто “там”, они там или могут быть там, но в основном через посредство того, что я называю виртуальной природой, арсенал виртуальных объектов, распределенный по относительно отдаленным сетям»⁹¹. «Осетевленный» порядок не в меньшей степени, чем традиционный, создает взаимные зависимости: индивиды подчинены не только «соседским» транспарантным отношениям в сетевом пространстве, но и технике, которая по идее должна была освободить индивида и служить ему. В то же время сетевой пространственно-временной континуум формирует фреймы-ограничители межличностных взаимодействий, создавая детерминацию релевантного типа – сетевую социальную организацию.

⁹⁰ Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. С. 111.

⁹¹ Там же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.